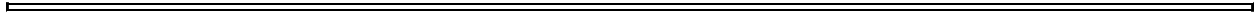


- [Захар Прилепин](#)

-



Захар Прилепин

Грех

Ему было семнадцать лет, и он нервно носил свое тело.

Тело его состояло из кадыка, крепких костей, длинных рук, рассеянных глаз, перегретого мозга.

Вечерами, когда ложился спать в своей избушке, вертел в голове, прислушиваясь: "...и он умер... он... умер..."

Пытался представить, как кто-нибудь заплачет, и еще закричит его двоюродная сестра, которую он юношески, изломанно, странно любил. Он лежит мертвый, она кричит.

Где-то в перегретом мареве мозга уже было понимание, что никогда ему не убить себя, ему так нежно и страстно живется, он иного состава, он теплой крови, которой течь и течь, легко, по своему кругу, ни веной ей не вырваться, ни вспоротым горлом, ни пробитой грудиной.

Прислушивался к торкающему внутри "...он умер... умер..." и засыпал, живой, с распахнутыми руками. Так спят приговоренные к счастью, к чужой нежности, доступной, легкой на вкус.

По дощатому полу иногда пробегали крысы.

Бабушка травила крыс, насыпала им по углам что-то белое, они ели ночами, ругаясь и взвизгивая.

По утрам он умывался во дворе, слушая утренние речи: пугливую козу, бодрую свинью, настырного петуха, – и однажды забыл прикрыть дверь в избушку. Зашел, увидел глупых кур, суетившихся возле отравы.

Погнал их, закудахтавших (во дворе, строгий, откликнулся петух).

Подпрыгивая, роняя перья, не находя дверь (петух во дворе неумолчно голосил, позер пустой), куры выскочили, наконец, во двор.

Он долго, наверное, несколько часов, переживал, что куры затоскуют, как всякое животное перед смертью, и передохнут: бабушка огорчится.

Но куры выжили: может быть, склевали мало, или, вернее, им не хватило куриного мозга понять, что они отравились.

Крысы тоже выжили, но стали гораздо медленнее передвигаться, словно навек задумались и больше никуда не спешили.

Однажды ночью, напуганный шорохом, включил свет в избушке. Крыса, казалось, бежала, но никак не могла пересечь комнату. Глядя на

внезапный свет, забыла путь, пошла странной окружностью, как в цирке.

Схватил кочергу, вытянул тонкое, с тонкими мышцами тело, ударил крысу по хребту, и еще раз, и еще.

Присел на корточки, разглядывал хитрый, смежившийся глаз, противный хвост. Подхватил кочергой труп, вынес во двор, стоял, босой, глядя на звезды, с мертвой крысой.

С тех пор перестал говорить на ночь "...он... умер..."

Проснувшись, закрывал скрипучую дверь в избушке, где дневал-ночевал, никому не мешая, читая, глядя в потолок, дурака валяя, и шел в дом, где бабушка давно встала, чтоб подоить козу, выпустить кур, отогнать уток на реку, успела еще сготовила завтрак, а дед сидел за столом, стекластые очки на носу, чинил что-то, громко дыша.

Он заглядывал в большую комнату, видел спину деда и сразу исчезал беззвучно, пугаясь, что его попросят помочь. Он еще мог разобрать что-нибудь, но собрать обратно... детали сразу теряли смысл, хотя недавно казалось, что их уклад ясен и прост. Оставалось только смести рукой металлическую чепуху, невозвратно бросить в иной мусор, самого себя стыдясь и глупо улыбаясь.

– Встал? – говорила бабушка приветливо, тихо двигаясь, никогда не суется у плиты. Он присаживался за столик на маленькой кухне, следя за мушинными перелетами. Поднимался, брал хлопушку – деревянную палку, увенчанную черным резиновым треугольником, под звонким ударом которого всмятку гибли мухи.

Бить мух было забавой, быть может, даже игрой. То время, когда он еще играл, было совсем недалеко, можно дотянуться. Иногда находил на чердаке, куда лазил за старыми, пропыленными (и оттого еще более желанными) книгами, безколесые железные машины и терпко мучился желанием перенести их в свою избушку – если уж не по полу повозить, так хоть полюбоваться.

Бабушка хорошо молчала, и ее молчание не требовало ответа.

Картошечка жарилась, потрескивая и салютуя, когда открывали крышку и ворошили ее, разгоряченную.

Малосольные огурцы, безвольные, лежали в тарелке, оплыв слабым рассолом. Сальце набирало тепло, размякая и насыщаясь своим ароматом – после холода, из которого его извлекли.

Он разгонял мух со стола и вдруг с интересом приглядывался к хлопушке: к ее тонкому, крепкому, деревянному остоу, врезающемуся в черный треугольник.

Бросал хлопушку, морщился брезгливо, вытирал руку о шорты,

втягивал живот, в груди ломило, словно выпил ледяной воды (но вкуса влаги не осталось, только тяготная ломота).

“Отчего это мне дано?.. Зачем это всем дано?.. Нельзя было как-то иначе?”

– Дед-то будет завтракать? – спрашивала бабушка, выключая конфорку.

– Конечно, будет, – с радостью отвлекаясь от самого себя, бодро отзывался внук. Он знал, что дед без него не садился за стол.

Шел в комнату, громко звал:

– Бабушка есть зовет!

– Есть?.. – отзывался дед раздумчиво, – Я и не хочу, вроде... Ну, пойдем, посидим, – он снимал очки, аккуратно складывал отвертки и пассатижики, вставал, кряхтя. Тапки шлепали по полу.

Спокойно, легким гусиным движением дед склонял голову перед притолокой и входил на кухню. Мельком, хозяйски оглядывал стол, будто выискивал: вдруг чего не хватает, – но все всегда было на месте и, верится, не первый десяток лет.

– Не выпьешь, Захарка? – с хорошо скрытым лукавством спрашивал он.

– Нет, с утра-то зачем, – отвечал внук деловито.

Дед еле заметно кивал: хороший ответ. Степенно ел, иногда строго взглядывая на бабушку. Спрашивал что-то по хозяйству.

– Сиди уж! – отзывалась бабушка. – Не то без тебя я не знаю, чем курей кормить.

Почти неуловимое выражение мелькало на лице деда: “...дура баба – всегда дура...” – словно говорил он. Но на том все и завершалось.

Старики никогда не ругались. Захарка любил их всем сердцем.

– Сестрят навещу... – говорил он бабушке, позавтракав.

– Иди-иди, – живо отзывалась бабушка. – И обедать к нам приходите.

Двоюродные сестры жили здесь же в деревне, через два дома. Младшая,

Ксюша, невысокая, миловидная, с хитрыми глазами, недавно стала совершеннолетней. Старшая, нежноглазая, черноволосая Катя, была на пять лет старше ее.

Ксюша ходила на танцплощадку в другой край деревни и возвращалась в четыре утра. Но спала мало, просыпалась всегда недовольная, подолгу рассматривала себя в зеркальце, присев у окна: чтоб падал на лицо дневной свет.

К полудню она приходила в доброе расположение духа и, внимательно глядя в глаза пришедшему в гости брату, заигрывала с ним, спрашивала откровенное, желая услышать честные ответы.

Брат, приехавший на лето, сразу понял, что с Ксюшей недавно случилось важное, женское, и ей это радостно. Она чувствует себя увереннее, словно получила еще одну интересную опору.

От вопросов брат отмахивался, с душой отвлекаясь на голоногого пацана, трехлетнего Родика, сына Кати.

Муж старшей сестры служил второй год в армии.

Родик говорил очень мало, хотя уже пора было. Называл себя нежно “Одик”, с маленьким, еле слышным “к” на конце. Все понимал, только папу не помнил.

Захарка возился с ним, сажал на шею, и они бродили по округе, загорелый парень и белое дитя с пушистыми волосами.

Катя иногда выходила из дому, отвечая, слышал Захарка, Ксюше: “Ну, конечно, ты у нас самая умная...” Или так: “Мне все равно, чем ты будешь заниматься, но картошку почистишь!”

Строгость ее была несерьезна.

Выходила – и внимательно смотрела, как Захарка – Родик на плечах, – медленно идут к дому, общаясь.

– Камни, – говорил Захарка.

– Ками... – повторял Родик.

– Камни, – повторял Захарка.

– Ками, – соглашался Родик.

Они шли по щебню.

Катя, понимал Захарка, думала о чем-то важном, глядя на них. Но о чем именно, он не задумывался. Ему нравилось жить легко, ежась на солнце, всерьез не размышляя никогда.

– Проголодались, наверное, гуляки? – говорила Катя хорошим, грудным голосом и улыбалась.

– Бабушка звала обедать, – отвечал Захарка без улыбки.

– Ой, ну хорошо. А то наша Глаша отказывается выполнять наряд по кухне.

– Мое имя Ксюша, – отвечала со всей шестнадцатилетней строгостью сестра, выходя на улицу. Она уже нацепила беспечную на ветру юбочку, впорхнула в туфельки, маечка с неизменно открытым животиком. На лице ее замечательно отражались сразу два чувства: досада на сестру, интерес при виде брата.

“Посмотри, какая она дура, Захарка!” – говорила она всем своим

видом.

“Заодно посмотри, какой у меня милый животик, и вообще...” – вроде бы еще прочел Захарка, но не был до конца уверен в точности понятого им. На всякий случай отвернулся.

– Мы пока пойдем яблоки есть, да, Родик? – сказал пацану, сидящему на шее.

– И я с вами пойду, – увязалась Катя.

– Подем, – с запозданием отвечал Захарке Родик к восторгу Кати: она впервые от него слышала это слово.

Они шли по саду, – оглядывая еще зеленые, тяжелые, желтые сорта, – к той яблоньке, чьи плоды были хороши и сладки уже в июле.

– Яблоки, – повторял Захарка внятно.

– Ябыки, – соглашался Родик.

Катя заливалась юным, ясным, сочным материнским смехом.

Когда Захарка откусывал крепкое, с ветки снятое яблоко, ему казалось, что Катин смех выглядит как эта влажная, свежая, хрустящая белизна.

– А мы маленькие, мы с веточки не достаем, – в шутку горилась Катя и собирала попадавшие за ночь с земли. Она любила помягче, покраснее.

Поочередно они вскармливали небольшие дольки яблок Родику, спущенному на землю (Захарка пугался случайно оцарапать пацана ветками в саду).

Иногда, не заметив, подавали вдвоем одновременно два кусочка яблочка. Безотказный Родик набивал полный рот и жевал, тараща восторженные глаза.

– У! – показывал он на яблоко, еще не снятое с ветки.

– И это сорвать? Какой ты... плотоядный, – отзывался Захарка строго; ему нравилось быть немного строгим и чуть-чуть мрачным, когда внутри все клокотало от радости и безудержно милой жизни. Когда еще быть немного мрачным, как не в семнадцать лет. И еще при виде женщин, да.

Чуть погодя в саду появлялась Ксюша: ей было скучно одной в доме. К тому же брат.

– Почистила картошку? – спрашивала Катя.

– Я тебе сказала: я только что покрасила ногти, я не могу, это что, нужно повторять десять раз?

– Отцу расскажешь про свои ногти. Он тебе их пострижет.

Ксюша срывала яблочко с другой яблони – не той, что была по сердцу старшей сестре, – ни в чем не хотела ей последовать. Ела нехотя, все поглядывая на брата.

– Вкусно зелененькое? – спрашивала Катя с милым ехидством, с

прищуром глядя на Ксюшу.

– А твое червивенькое? – отвечала младшая.

К обеду все они шли к старикам. Сестры немедля мирились, когда речь заходила о деревенских новостях.

– Алька-то с Серегой, – утверждала Ксюша.

– Быть не может, он же на Гальке жениться собирался. Сваты уже ходили, – не верила Катя.

– Я тебе говорю. Вчера на мотоцикле проезжали.

– Ну, может, он ее подвозил.

– В три часа ночи, – издевательски отвечала Ксюша, – За мосты...

“За мосты” – так называли те уютные поляны, куда влюбленные деревенские уезжали на мотоциклах или уходили порой.

Захарка посмотрел на сестер и подумал, что и Катя ходила “за мосты”, и Ксюша тоже. Представил на большое мгновение задранные юбки, горячие рты, дыхание и закрутил головой, отгоняя морок, сладкий такой морок, почти невыносимый.

Отстал немного, смотрел на щиколотки, икры сестер, видел лягушачьи, загорелые ляжечки Ксюши и – сквозь наполненный солнечным светом сарафан – бедра Кати, только похорошевшие после родов.

Хотелось, чтобы рядом, в нескольких шагах, была река: он бы нырнул с разбегу в воду и долго не всплывал бы, двигаясь медленно, тихо касаясь песчаного дна, видя увиливающих в мутной полутьме рыб.

– Ты чего отстал? – спросила Ксюша, оборачиваясь.

Захарке хотелось, чтобы этот вопрос задала Катя. Катя разговаривала с Родиком.

– Пойдемте купаться? – предложил он вместо ответа.

– А ты Родика донесешь? – спросила Катя, обернувшись, – несколько шагов она шла по улице вперед спиной, улыбаясь брату.

Захарка расплылся в улыбке, против своей мрачной воли.

– Ко. Неч. Но, – ответил он, глядя Кате в глаза.

Родик тоже, подражая матери, развернулся и пошел задом, посекундно оборачиваясь, сразу запутался в своих ногах, повалился, и все засмеялись.

Они уже не помещались на кухне и обедали в большой комнате, за длинным столом, покрытым цветастой клеенкой, тут и там случайно порезанной ножом, а еще с пригоревшим полумесяцем раскаленного края сковороды.

Сестры хрустели огурцами.

Захарке нравился их прекрасный аппетит.

Было много солнца.

Катя положила Родiku картошки в блюдечко. Он копошился в ней руками, весь в сале и масле, поминутно роняя картошку на ноги. Катя подбирала картошку с ножек своего дитя и ела, вся лучась.

Захарка сидел напротив, смотрел на них и тихо гладил голой ступней ногу Кати. Она не убирала ноги и, казалось, вовсе не обращает внимания на брата. Опять подзуживала младшую сестру, слушала бабушку, рассказывавшую что-то о соседке, не забывала любоваться

Родиком. Только на Захарку не смотрела вовсе.

Зато он видел ее неотрывно.

Ксюша замечала это ревниво.

Хлеб был очень вкусный. Картошка была замечательно сладкой.

Ели из общей сковороды, огромной, прожаренной, надежной.

– Завтра дед свинью будет резать, – сказала бабушка.

– Ой, хорошо, что напомнила, – сказала Катя.

– А что? – спросила бабушка.

– Не приду завтра, не могу видеть.

– А кто тебя неволит, не ходи на двор, да и не смотри, – засмеялась бабушка.

– Я тоже не приду, – впервые согласилась с сестрой Ксюша.

Сестры помогли убрать со стола. Захарка в это время смастерил на улице лук – скорее не для Родика, а для себя. Что Родiku лук, как ему с ним справиться...

Но пацан неотрывно следил за работой Захарки: как он сначала нашел и срубил подходящий сук, потом, прогнув его, намотал бечевку, попадая в специально прорезанные желобки.

– Лук, – говорил Захарка внятно. – Ллук!

– Ук, – повторял Родик.

– Он у тебя скоро заговорит, – сказала вышедшая Катя.

– На охоту пойдете? – спросила вслед появившаяся Ксюша. – Возьмете меня? Родик, возьмете меня?

Родик, не мигая, смотрел на Ксюшу. Захарка, не моргая, на Катю.

– Только картошку все равно надо почистить, – сказала Катя. – Перед тем, как купаться пойдём. А то папке будет нечего есть...

Они забежали к сестрам. Катя поставила на пол ведро с водой, ведро с картошкой и кастрюльку. Расселись вокруг. Раздала ножи, Ксюше – самый маленький и непоправимо тупой. Та, ругаясь, пошла менять ножик.

Чистили втроем, смеясь чему-то. Родик крутился возле. Катя прикармливала его сырой картошкой. Ксюша корила ее:

– Ну, что делаешь? Вот мать, а... Как тебе доверили ребенка!

– Смотри, чтоб тебе не доверили, – отвечала Катя, сдувая павшую прядь с лица и затем поправляя ее кистью руки, сжимающей нож.

Захарка веселился и старался не смотреть сестрам на колени: у Ксюши они были загорелее, у Кати – белее. У Кати – круглые, у Ксюши – с изящной выпуклой костью, как у какого-то высокого зверя, не знаю, быть может, лани...

А еще Катя сидела чуть дальше от ведра с картошкой и когда склонялась...

“Боже ты мой, что ж ты пристал ко мне с этим...”

Захарка выходил на улицу. Медленно бродили куры, тупые от жары.

– Ахака! – засмеялась Катя в доме, голос ее приближался.

– Слышал, что он сказал? “Де Ахака”? Вот твой Ахака, Родик! Вот он де.

Родик выбежал на заплетающихся ножках, солнечные ресницы, ушки в пушке.

До реки было минут десять ходьбы. Захарка снял шорты и бросился в воду с разбегу, чтобы не видеть, как раздеваются сестры. “Вообще бы их не видеть...” – подумал весело, неправдиво и сразу обернулся на их голоса.

– Как водичка? – спросили сестры одновременно, посмотрели друг на друга сначала недовольно, словно подозревая в издевке, и тут же засмеялись.

В этот день они больше не ссорились.

Катя прихватила с собой яблок. Лежа на берегу, копошась ногами в песке, они грызли румяные плоды. Захарка кидал огрызки в воду.

– Ну, зачем? – тянула брезгливая Ксюша.

– Рыбки съедят.

Катя поминутно садилась и кричала:

– Родик, не заходи глубоко! Нельзя! Там рыбки! Ай!

– Там? – переспрашивал Родик, показывая пальчиком на середину реки, и, вдохновленный, ступал дальше.

– Захарка, скажи ему, он только тебя слушается.

Брат смотрел, грызя яблочный черенок, как из-под плавок Кати выбилось несколько черных завитков, прилипнув к белой, сырой, в золотящихся, непросохших каплях ноге.

– Родик! – закричал он, неожиданно для самого себя громко, так, что пацан вздрогнул.

– Господи, что ж ты так кричишь! – всполошилась Катя, резко поднявшись с песка.

– Я к нему пойду, лежите... – Захарка дошел до Родика.

– Камыша нарвем? – предложил ему. – Лук у нас уже есть, стрелы нужны.

– Подем, – готовно ответил Родик и вылез из воды.

Они пошли вдоль берега, маленькая, невинная лапка в юной руке со странной линией судьбы и глубокой – жизни.

Вернулись с поломанным на стрелы камышом. По дороге Захарка нашел проволоку, накрутил на одну из тростин.

– Ну что, лягушки, заждались жениха? – спросил, натягивая тетиву.

Сестры развернулись, улыбаясь разморенно. Поднял лук вверх, спустил камышовую тростину, взлетела неожиданно высоко.

Родик сразу потерял стрелу из вида, не понял, куда она делась, смотрел вокруг себя, удивленный.

Разбудил визг свиньи.

“Режут уже! Черт, не успел!”

Вскочил с кровати, натягивал шорты, едва не падая.

Но свинью пока лишь привязали: перетянутая впившимися в жирную шкуру веревками, она стояла в темноте сарая, и каждый раз при появлении человека начинала визжать.

Захарка наблюдал ее, встав в проеме дверей, едва разлепив глаза, еще не умывшийся, улыбался.

Не было ни единой мысли в голове, но где-то под сердцем тихо торкал в кровь странный вкус сладости чужой, пусть животной, смерти.

“Кричишь, свинья? Хочется тебе жить?” – что-то такое подрагивало в темном и тайном закутке мозга.

Хотя рассудок, внятный, человеческий рассудок подсказывал: надо жалеть, как же так, неужели не жалко?

“Жалко”, – согласился без усилия.

Визг, впрочем, долго терпеть было невозможно.

Захлопнул дверь, подошел к деду, сидевшему на пенечке. Дед подтачивал и без того жуткий нож, все время отсвечивающий на солнце длинным лезвием.

На Захарку дед не посмотрел, строгий.

– Откуда она знает, что ее зарежут? – громко спросил Захарка, едва визг умолк.

Дед на секунду поднял маленькие и отчего-то, как показалось Захарке, неприветливые глаза. Встал, зачем-то побрел к себе в мастерскую.

“Не расслышал”, – подумал Захарка.

– Зверь все знает, – сказал дед негромко, сам себе, ни к кому не

обращаясь.

Через минуту дед вернулся, и Захарка понял, что ошибся, подумав о тяжелом настрое деда.

– Не видел, как свинью режут? – спросил дед просто.

– Нет, – ответил Захарка радостно.

Дед кивнул. Не было ясно, что это означает: ну, сегодня узнаешь, или

– и хорошо, что не видел.

Появилась бабушка, позвякивая железными тазами, которых исхитрилась принести сразу штук шесть.

Посмотрела на деда, медленно копошащегося, но торопить не стала, хотя неумолчный визг ей слушать вовсе не желалось.

Захарка потоптался с минуту и решил сбегать в туалет.

Деревянная, приветливая, оклеенная изнутри старыми обоями будка стояла возле огорода. Подходя к туалету, Захарка каждый раз оглядывал грядки с арбузами.

Арбузы были обидно малы и зелены.

“Не успеют к моему отъезду, не успеют”, – привычно огорчился Захарка.

Внутри туалета всегда было сумрачно, но с хорошими солнечными просветами сквозь щели меж досок. Неизменно летали одна или две тяжелые мухи. Никогда не садились больше, чем на несколько секунд.

Снова жужжали стервенело.

На гвозде – старый журнал сельского механизатора. В который раз

Захарка рассматривал его, не понимая ничего. В этом непонимании, ленивом разглядывании запылевших страниц, солнечных щелях, беспутных мухах, близости деревянных стен, желтых обоев, тут и там оборванных, ржавой задвижке, покрытом черной толью, чтоб не подтекало, потолке – во всем была тихая, почти недостижимая, лирическая благодать.

Свинья завизжала жутче, страшнее, отрешенней. Захарка поспешил.

Визг оборвался, когда он еще не добежал. Еще пришлось бабушку пропустить: она куда-то торопилась, и по ее виду – чуть взволнованному, но и успокоенному одновременно виду (“...все конечно, слава Богу...”), – Захарка понял, что свинью зарезали.

Дед неспешно красными руками развязывал (мог бы разрезать, но не стал, сберег веревки) узлы, прикрепившие свинью к стояку сарая.

“Нарочно он меня не подождал... или не нарочно?” – подумал Захарка, и ответа не нашел.

Сначала, освобожденный, обвис зад свиньи, – но она еще держалась, привязанная к стояку за мощную шею. Дед отодвинул таз, полный кровью,

натекшей из перерезанного горла, и распустил веревку на шее.

Свинья с мягким звуком упала.

Захарка подошел близко, с интересом разглядывая смолкшее животное.

Обычная свинья, только мертвая. Ровный разрез на горле, много белого сала.

– Что-то нож не вижу... – осматривался дед. – Захарка, посмотри.

Нож был воткнут в стену сарая. Рукоятка его была тепла, лезвие в подсыхающей крови.

Он подал нож деду, держа за острие. Измазал пальцы, смотрел потом на них.

Свинье взрезали живот, она лежала, распавшаяся, раскрытая, алая, сырая. Внутренности были теплыми, в них можно было погреть руки.

Если смотреть на них прищурившись, в легком дурмане, они могли показаться букетом цветов. Теплым букетом живых, мясных, животных цветов.

Дед уверенно извлекал сердце, почки, печень. Кидал в тазы. Выдавил рукой содержимое прямой кишки.

Живое существо, смуро встречавшее Захарку по утрам, теревшееся боком о сарай, возбужденно похрюкивавшее при виде ведра со съестным, умевшее, в конце концов, издавать удивительной силы визг, – существо это оказалось ничтожным, никчемным, его можно было разрезать, расчленить, растащить по кускам.

И вот уже лежала отдельная, тупая, свиная голова, носом вверх, с открытой пастью. Казалось, что свинья желает завывать, вот-вот завоет.

И видя эту голову, даже куры немного придурели, и петух ходил стороной, и коза смотрела из темноты иудейскими страдающими глазами.

Захарка прошел в дом. Бабушка, спешившая навстречу с тряпкой в руке, сказала:

– Покушай, я там оставила...

Но он не стал – и не потому, что расхотел есть от вида резаного поросенка. Ему не терпелось к сестрам. Все это живое, пресыщенное жизнью в самом настоящем, первобытном ее виде и вовсе лишенное души,

– все это с яркими, цветными, ароматными, внутренностями, с раскрытыми настезь ногами, с бессмысленно задранной вверх головой и чистым запахом свежей крови не давало, мешало находиться на месте, влекло, развлекало, клокотало внутри.

Та самая, тягостная ломота, словно от ледовой воды, мучавшая его, неожиданно сменилась ощущением сладостного, предчувствующего жара.

Жарко было в руках, в сердце, в почках, в легких: Захарка ясно видел свои органы, и выглядели они точно теми же, что дымились пред его глазами минуту назад. И от осознания собственной теплой, влажной животности Захарка особенно страстно и совсем не болезненно чувствовал, как сжимается его сердце, настоящее мясное сердце, толкающее кровь к рукам, к горячим ладоням, и в голову, ошпаривая мозг, и вниз, к животу, где все было... гордо от осознания бесконечной юности.

Прихватил зачем-то лук, валявшийся у дома, шел с таким ощущением, словно только что убил зверя, и не казался самому себе смешным.

Первым увидел Родика, тот уже распугивал кур, и так его боявшихся. С трудом сдержался от того, чтоб рассказать Родику, как все было. Даже произнес несколько слогов и оборвал себя, вхолостую шевеля нелепыми губами.

Вышла Ксюша. И Катя вышла следом.

– Ну что... зарезали свинью? – спросила Катя, расширяя глаза и такой вид имея, словно убитая свинья вот-вот должна прийти, сипя и хлюпая раскрытым горлом.

Ксюша тоже смотрела напугано.

– Отсюда слышно было, как визжит. Мы все двери и окна закрыли с Катькой, – сказала.

Захарка любовался на сестер, счастливые глаза переводя с одного милого лица на второе – прекрасное, и выискивал то слово, с которого стоит начать, рассказать про сердце, горло, кровь, и вдруг разом, в одну секунду понял, что сказать ему нечего.

– У вас есть пустые консервные банки? – спросил.

– Есть, – пожав плечами, ответила Ксюша. – Вон, в мусоре, вроде были.

Захарка нарезал от трех консервных банок крышки. Разделил каждую большими ножницами пополам. Пассатижами скрутил, подогнал ко вчерашним камышинам, подбил молотком получившееся острие.

Сестры разошлись по своим делам, только Родик перетаптывался рядом, иногда повторяя “Ук!”, и подолгу сомнительно молчал на Захаркино:

“Стрелы! Скажи: стрелы!”

“Еы”.

– Точно, – согласился Захарка.

Натянул тетиву, запустил стрелу, она взмыла стремительно, потом, казалось, на мгновение застыла в воздухе и мягко пала вниз, в землю воткнувшись.

– Вау, – сказала Ксюша, выйдя с половой тряпкой на крыльцо. – Как красиво!

Пошатываясь на ветерке, стрела торчала вверх.

– Стоит, – добавила Ксюша мечтательно.

“В хорошем настроении сегодня, – подумал Захарка. – Полы моет”.

Не сдержался и спросил:

– Ты что это за грязный труд взялась?

– Ремонт начинаем сегодня. Нашей Ксюше так хочется свою комнатку в оранжевые цвета раскрасить, что готова на любые жертвы, – ответила Катя за Ксюшу.

Ксюша, обиженная и на сестру и на брата, выжимала грязную воду из тряпки.

Захарка побродил по саду, погрыз, нехотя, яблоко.

Поносил Родика на шее, потом пацана отправили спать, и Захарка, чтоб не мешаться истово прибирающимся сестрам, отправился к себе.

Во дворе бабушка уже затерла кровь, а свиньи не осталось вовсе: только мясо в тазах.

Скрипнув дверью, вошел в избушку.

Было душно. Он стянул шорты, вылез, чуть взъерошенный, из майки.

Упал на кровать, покачиваясь на ее пружинах. Завалился на бок, потянулся рукой к старой книге с затрепанной обложкой и без многих страниц, да так и не донес ее к себе. Припал щекой к подушке, притих. Вдруг вспомнил, что не выспался, закрыл глаза, сразу увидев

Катю... о Кате, Катино, Катины...

Лежал, помня утренний визг, полет стрелы, черную воду из тряпки, вкус яблока, яблоню качает, раскачивает, кора близко, темная кора, шершавая кора, кора, ко... ра... ко...

Скрипнула дверь, проснулся мгновенно. “Катя”, – екнуло сердце.

Вошла Ксюша, в смешном купальнике: все на каких-то завязочках с бантиками.

Расщурив глаза, Захарка смотрел на нее.

– Разбудила, спал? – спросила она быстро.

Он не ответил, потягиваясь.

– Мы купаться собрались, – добавила Ксюша, присев на кровать так, чтобы коснуться своим бедром бедра брата. – А то от краски уже голова болит: мы красить начали. Двери.

Захарка кивнул головой и еще раз потянулся.

– Ты отчего молчишь? – спросила Ксюша. – Ты почему все время молчишь? – повторила она веселее, и на тон выше – тем голосом, какой

обычно предшествует действию. Так оно и было: Ксюша легко перекинула левую ножку через Захарку и села у него в ногах, крепко упираясь руками ему в колени, сжимая их легко. Вид у нее был такой, словно она готовится к прыжку.

“Я вроде бы и не молчу...” – подумал Захарка, с интересом разглядывая сестру.

Ступнями он иногда чувствовал ее холодные, крепкие ягодицы. Она чуть раскачивала задком из стороны в сторону и вовсе неожиданно пересела выше, недопустимо высоко, – прижав ноги к его бедрам и тихо щекоча

Захарку под мышками.

– А щекотки ты боишься? – спросила она, и без перерыва: – Какая у тебя грудь волосатая... Как у матроса. Ты куда пойдешь в армии служить? В матросы? Тебя возьмут.

Вид у Ксюши был совершенно спокойный, словно ничего удивительного не происходило.

Но Захарка, когда она шевелилась и ерзала на нем, внятно чувствовал, что под тканью ее смешной, в бантиках, одежды живое, очень живое...

Это продолжалось ровно столько, чтобы обоим стало ясно: так больше нельзя, нужно сделать что-то другое, невозможное.

Ксюша смотрела сверху спокойными и ясными глазами.

– Мне так неудобно, – вдруг сказал Захарка, ссадил Ксюшу и сел напротив ее, прижав колени к груди.

Они проговорили еще минуты две, и Ксюша ушла.

– Ну, пойдём купаться? – спросила уже на улице, обернувшись.

– Идем-идем, – ответил Захарка, провожая ее.

– Тогда я Катку позову. И мы зайдем за тобой, – Ксюша, вильнув бантиком, вышла со двора.

– “Катку позову...” – повторил он без смысла, как эхо.

Подошел к рукомойнику, похожему на перевернутую немецкую каску. Из отверстия в центре рукомойника торчал железный стержень. Если его поднимаешь – течет вода.

Захарка стоял недвижимо, пристально разглядывая рукомойник, проводя кончиком языка по тыльной стороне зубов. Чуть приподнял железный стержень: он слабо звякнул. Воды не было. Потянул за стержень вниз.

Неожиданно заметил на нем сохлый отпечаток крови.

“Наверное, дед, когда свинью резал, хотел помыть руки...” – догадался.

Вечером Ксюша ушла на танцы, а Катя с Родиком пришли ночевать к бабушке с дедом: чтобы пацан не захворал от тяжелых запахов ремонта.

Долго ужинали. Разморенные едой, разговаривали нежно. Помаргивала лампадка у иконы. Захарка, выпивший с дедом по три полрюмочки, подолгу смотрел на икону, то находя в женском лице черты Кати, то снова теряя. Родик так точно не был похож на младенца.

Его уже несколько раз отправляли спать, но он громко кричал, протестуя.

Захарке не хотелось уходить в избушку, он любовался на своих близких, каких-то особенно замечательных в этот вечер.

Ему вдруг тепло и весело примнилось, что он взрослый, быть может, даже небритый мужик, и пахнет от него непременно табаком, хотя сам Захарка еще не курил.

И вот он небритый, с табачными крохами на губах, и Катя его жена. И они сидят вместе, и Захарка смотрит на нее любовно.

Он только что приплыл на большой лодке, правя одним веслом, привез, скажем, рыбы, и высокие, черные сапоги снял в прихожей. Она хотела ему помочь, но он сказал строго: “Сам, сам...”

Захарка неожиданно засмеялся своим дурацким мыслям. Катя, оживленно разговаривавшая с бабушкой, мелькнула по нему взглядом, таким спокойным и понимающим, словно знала, о чем он думает, и вроде бы даже кивнула легонько: “Ну сам, так сам... Не бросай их только в угол, как в прошлый раз: не высохнут...”

Захарка громко съел огурец, чтобы вернуться в рассудок.

Дед, давно уже вышедший из-за стола слушать вечерние новости, прошел мимо них из второй комнаты на улицу, привычно приговаривая словно для себя, незлобно:

– Сидите все? Как только что увиделись, приехали откуда...

Беседа случайным словом задела зарезанную нынче свинью. Катя сразу замахала руками, чтобы не слышать ничего такого, и разговаривавшая не в привычку бабушка вдруг рассказала историю, как в пору ее молодости неподалеку жила ведьма. Дурная на вид, костлявая и вечно простоволосая, что не в деревенских обычаях. Травы сушила, а то и мышей, и хвосты крысиные, и всякие хрящи других тварей.

О бабке, между иным прочим, говорили, что она в свинью превращается ночами. Решили задорные деревенские парни проверить этот слух, пробрались ночью во двор к бабке, в поросятый сарай, и в минуту отрезали свинье ухо.

А ранним утром бабку, спешившую с первым солнцем за водой к речке, впервые видели в платке, и даже под черным платом было видно, что голова у нее с одной стороны замотана тряпкой.

Катя сидела, притихнув, неотрывно глядя на бабушку. Захарка смотрел Кате через плечо, в окошко, и вдруг сказал шепотом:

– Кать, а что там в окне? Никак свинья смотрит?

Катя вскочила и взвизгнула. Бабушка хорошо засмеялась, прикрывая красивый рот кончиком платочка. Да и Катя охала, перебегая от окошка на другой конец стола, не совсем всерьез. Однако на Захарку начала ругаться очень искренне:

– Дурак какой! Я же боюсь этого всего...

Посмеялись еще немного.

– Сейчас пойдешь в свою избушку, а тебя самого свинья укусит, – посулила Катя негромко.

Захарка отчего-то подумал, что свинья укусит его за вполне определенное место, и Катя о том и говорила. У него опять мягко екнуло в сердце, и он не нашелся, что ответить про свинью, потому что подумал совсем о другом.

– А ты тут оставайся спать, – предложила бабушка Захарке полувшутку-полувсерьез, словно и правда опасаясь за то, чтоб внука не покусала нечисть; сама бабушка никогда ничего не боялась.

– Места хватит, всем постелем, – добавила она.

– Изба большая – хоть катайся, – сказал вернувшийся с улицы дед, обычно чуть подглуховатый, но иногда нежданно слышавший то, что говорилось негромко и даже не ему. Все снова разом засмеялись, даже

Родик скривил розовые губешки.

Дед издавна считал свою избу самой большой, если не во всей деревне, то на порядке точно.

Сходит к кому-нибудь, например, на свадьбу, вернется и скажет:

– А наша-то, мать, изба поболее будет? Тесно там было как-то.

– Да там четыре комнаты, ты что говоришь-то, – дивилась бабушка. – И сорок три человека званных.

– Ну, “комнаты...” – бурчал дед басовито. – Будки собачьи.

– У нас тут восемнадцать душ жило, при отце моем, – в сотый раз докладывал он Захарке, если тот случался поблизости. – Шесть сыновей, все с женами, мать, отец, дети... Лавки стояли вдоль всех стен, и на них спали. А ей вдвоем теперь тесно, – сетовал на бабушку.

В этот раз он про восемнадцать человек не сказал, прошел, делая вид, что смеха не слышит и не видит. Включил в комнате телевизор погромче

– так, чтоб его гомон наверняка можно было разобрать в соседнем доме, где жил алкоголик Гаврило, никаких электрических приборов не имевший.

Катя помогла бабушке прибирать со стола. Захарка изображал Родикку битву на вилках, пока вилки у него тоже не отобрали, унеся в числе остальной грязной посуды.

Они прошли в комнату, к подушкам и простыням, имеющим в деревне всегда еле слышный, но приятный, чуть кислый вкус затхлости: от больших сундуков, обилия ткани, долго лежавшей в душной тесноте.

Захарке достался диван. Он дождался, пока выключат свет, быстро разделся и лег, запахнувшись одеялом, хотя было тепло.

Дед спал на своей кровати, бабушка на своей. Кате с Родиком досталась низкая лежанка, стоявшая в другом от Захарки углу комнаты.

Захарка лежал и слушал Катю, ее вздохи, ее движение, ее голос, когда она строгим шепотом пыталась урезонить Родика.

Словно пугаясь, что и в темноте она увидит его взгляд, Захарка не смотрел в сторону Кати.

Родик никак не унимался, ему непривычно было на новом месте, он садился, хлопал пяткой по полу, пытался рассмешить мать, вертясь на лежанке. Когда он в который раз влез куда-то под одеяло, запутавшись в пододеяльнике, Катя резко села, и сразу же раздался треск и грохот: в деревянной лежанке что-то подломилось.

Родик получил по затылку, заныл, убежал к бабушке на кровать.

Включили ночник: на лежанке спать было нельзя, она завалилась на бок.

– Ложись к брату, – сказала просто бабушка.

Захарка придвинулся на край дивана, руки вдоль тела, взгляд в потолок, и все равно заметил, как мелькнул белый лоскут треугольный.

Катя легла у стены.

Они оба лежали не дыша. Захарка знал, что Катя не спала. Он не чувствовал тепла Кати, не касался сестры ни миллиметром своего тела, но неизъяснимое что-то, идущее от нее, ощущалось физически остро, всем существом.

Они не двигались, и Захарке было слышно, как у Кати взмаргивают ресницы. Потом в темноте раздавался почти неуловимый звук раскрывающихся, чуть ссохшихся губ, и тогда Захарка понимал, что она дышит ртом. Повторял это же движение, чувствовал, как воздух бьется о зубы, и знал, что она испытывает то же самое: тот же воздух, тот же вдох...

Родик пролежал спокойно минут десять, казалось, что он уже заснул.

Но вдруг раздался его ясный голос:

– Маме.

– Спи-спи, – сказала бабушка.

– Маме, – повторил он требовательно.

– К маме хочешь?

– Да. Маме, – внятно повторил Родик.

Катя не отзывалась. Но Родик уже перебрался через бабушку и, двигаясь наугад в темноте, подошел к дивану.

Захарка подхватил его и положил между собой и Катей. Пацан счастливо засмеялся и сразу начал, при помощи задранных вверх ножек, какую-то бодрую игру с одеялом. Тем более, что ему было тесно, и своими острыми локотками он упирался одновременно в мамин бок и в Захаркин.

– Нет, так мы не заснем, – сказал Захарка.

Быстро, пока никто не успел ничего сказать, он вышел, прихватив с пола шорты и бросив напоследок добродушное:

– Пойду свинью навещу. Спи.

В прихожей он влез в свои шлепанцы, одел, чертыхаясь, шорты и вышел на улицу. Было звездно, прохладно, радостно.

– Свинья не укусит, – повторял он, улыбаясь самому себе, не думая ни о какой свинье. – Не укусит, не выдаст, не съест...

В своей избушке сел на кровать и сидел, покачивая ногами, с таким видом, будто придумал себе занятие на всю ночь. Смотрел в маленькое окошко, где луна и туча.

Ранним, свежим утром Захарка с большим удовольствием красил двери и рамы в доме сестер.

Теплело медленно.

Когда появлялась Катя в белой рубашке, концы которой были завязаны у нее на животе, и в старых, завернутых по колени, восхитительно идущих ей трико, он легко понимал, что не заснул бы ни на секунду, если б остался рядом с ней.

Много смеялся, дразня по пустякам сестер, чувствовал, что стал непонятно когда увереннее и сильнее.

Ксюша повозила немного вялой кистью и ушла куда-то.

Катя рассказывала, веселясь, о сестре: какая она была в детстве, и как это детство в одно лето завершилось. И о себе говорила, какие странности делала сама, юной. И даже не юной.

– Дура, – сказал Захарка в ответ на что-то, неважное.

– Как ты сказал? – удивилась она.

– Дура ты, говорю.

Катя замолчала, ушла разводить краску, сосредоточенно крутила в банке палкой, поднимая ее и глядя, как стекает густое, медленное.

Спустя, наверное, часа три, докрасив, сидели на приступках дома.

Катя чистила картошку, Захарка грыз тыквенные семечки, прикармливая кур.

– Ты первый мужчина, назвавший меня дурой, – сообщила Катя серьезно.

Захарка не ответил. Посмотрел на нее быстро и дальше грыз семечки.

– И что ты по этому поводу думаешь? – спросила Катя.

– Ну, я же за дело, – ответил он.

– И самое страшное, что я на тебя не обиделась.

Захарка пожал плечами.

– Нет, ты хоть что-нибудь скажи, – настаивала Катя, -...об этом...

– А на любимого мужа обиделась бы? – спросил Захарка только для того, чтобы спросить что-нибудь.

– Я люблю тебя больше, чем мужа, – ответила Катя просто и срезала последнюю шкурку с картошки.

С мягким плеском голый, как младенец, картофель упал в ведро.

Захарка посмотрел, сколько осталось семечек в руке.

– Чем мы с тобой еще сегодня займемся? – спросил, помолчав.

Катя смотрела куда-то мимо ясными, раздумывающими глазами.

В доме проснулся и подал голос Родик.

Они поспешили к нему, едва ли не наперегонки, каждый со своей нежностью, такой обильной, что Родик отстранялся удивленно: чего это вы?

– Пойдем, погуляем? – предложила Катя. – Надоело работать.

Невнятной тропинкой, ни разу не хоженной Захаркой, они тихо побрели куда-то задами деревни, с неизменным Родиком на плечах.

Шли сквозь тенистые кусты, иногда вдоль ручья, а потом тихой пыльной дорогой, немного вверх, навстречу солнцу.

Выбрели для Захарки неожиданно к железной оградке, железным воротцам с крестом на них.

– Старое кладбище, – сказала Катя негромко.

Родику было все равно, куда они добрались, и он понесся меж могил и ржавых оградок, стрекоча на своем языке.

Они шли с Катей, читая редкие старорусские имена, высчитывая годы жизни, радуясь длинным срокам и удивляясь – коротким. Находили целые семьи, похороненные в одной ограде, стариков, умерших в один день,

бравых солдатиков, юных девушек. Гадали, как, отчего, где случилось.

У памятника без фото, без дат встали без смысла, смотрели на него.

Катя – впереди, Захарка за ее плечом, близко, слыша тепло волос и всем горячим телом ощущая, какая она будет теплая, гибкая, нестерпимая, если сейчас обнять ее... вот сейчас...

Катя стояла, не шевелясь, ничего не говоря, хотя они только что балагурили без умолку.

Внезапно налетел как из засады Родик, и все оживились – поначалу невпопад, совсем неумело, произнося какие-то странные слова, будто пробуя гортань. Но потом стало получаться лучше, много лучше, совсем хорошо.

Вернулись оживленные, словно побывали в очень хорошем и приветливом месте.

Снова с удовольствием взялись за кисти.

Весь этот день и его запахи краски, неестественно яркие цвета ее, обед на скорую руку – зеленый лук, редиска, первые помидорки, – а потом рулоны обоев, дурманный клей, мешающийся под ногами Родик, уже измазавшийся всем, чем только можно, – в конце концов, его ответили к бабушке, – и все еще злая Ксюша (“...поругалась со своим...”

– шептала Катя), и руки, отмываемые уже в размытых летних сумерках бензином, – все это, когда Захарка, наконец, к ночи добрался до кровати, отчего-то превратилось в очень яркую карусель, кажется, цепочную, на которой его кружило, и мелькали лица, с расширенными глазами, глядящими отчего-то в упор, но потом сиденья на длинных цепях относило далеко, и оставались только цвета: зеленый, синий, зеленый.

И лишь под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина – прозрачная и нежная, как на кладбище.

“...Всякий мой грех... – сонно думал Захарка, -...всякий мой грех будет терзать меня... А добро, что я сделал, – оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком...”

Следующие летние дни, начавшиеся с таких медленных и долгих, вдруг начали стремительно, делая почти ровный круг цепочной карусели, проноситься неслучайно, одинаково счастливые до того, что их рисунок стирался.

В последнее утро, уже собравшись, в джинсах, в крепкой рубашке, в удивляющих ступни ботинках, Захарка бродил по двору.

Думал, что сделать еще. Не мог придумать.

Нашел лук и последнюю стрелу к нему. Натянул тетиву и отпустил.

Стрела упала в пыль, розовое перо на конце.

“Как дурак, – сказал себе весело. – Как дурак себя ведешь”.

Поцеловал бабушку, обнял деда, ушел, чтоб слез их не видеть. Легкий, невесомый, почти долетел до большака, – так называлась асфальтовая дорога за деревней, где в шесть утра проходил автобус.

К сестрам попрощаться не зашел: что их будить!

“Как грачи разорались”, – думал дорогой.

Еще думал: “Лопухи, и репейник ароматный”.

Ехал в автобусе с ясным сердцем.

“Как все правильно, Боже мой! – повторял светло. – Как правильно,

Боже мой! Какая длинная жизнь предстоит! Будет еще лето другое, и тепло еще будет, и цветы в руках...”

Но другого лета не было никогда.